

ФИЛОСОФИЯ

УДК 1 (165.5)

«ДОЛГ ПАМЯТИ» КАК ЗАПРЕТ НА ИСТОРИЮ*

А. Б. Аникина

Новосибирский государственный университет (г. Новосибирск)
lieda27@gmail.com

Аннотация. В статье рассмотрены противоречия между двумя формами обращения к прошлому – историей и памятью. На основе анализа концепции классика XX в. Поля Рикёра показано, как память из свидетельства о пережитом опыте может превратиться в подмену прошлого в виде «памяти-долга». Идея «памяти-долга» рассмотрена на примере идеологема победы в российской политике памяти, которая заслоняет собой опыт горя и разрушений, пережитых народом-победителем. Показано, что «память-долг» только представляется памятью, заставляя тем самым относиться серьезно к ее образам, однако она не опирается на реальный опыт, который необходим для выживания, как отдельных индивидов, так и обществ в целом.

Ключевые слова: П. Рикёр, политика памяти, припоминание, мемориальный поворот, злоупотребления памятью.

Для цитирования: Аникина, А. Б. (2022). «Долг памяти» как запрет на историю. *Respublica Literaria*. Т. 3. № 1. С. 5-19. DOI: 10.47850/RL.2022.3.1.5-19.

OBLIGATED MEMORY AS A PROHIBITION ON HISTORY*

A. B. Anikina

Novosibirsk State University (Novosibirsk)
lieda27@gmail.com

Abstract. The article deals with the contradictions of two forms of dealing with the past – history and memory. Based on the analysis of the concept of the 20th century classic Paul Ricoeur, it is shown how memory can turn from a testimonial of experience into a substitution of the past in the form of a “obligated memory”. The idea of “obligated memory” is considered on the example of the ideologue of victory in the Russian politics of memory, which obscures the experience of grief and destruction suffered by the victorious people. It is shown that “obligated memory” only seems to be memory, thereby forcing one to take its images seriously, but it does not rely on real experience, which is necessary for the survival as of individuals so of societies as a whole.

Keywords: politics of memory, P. Ricoeur, recollection, memorial turn, Abusively Controlled Memory.

For citation: Anikina, A. B. (2022). Obligated Memory as a Prohibition on History. *Respublica Literaria*. Vol. 3. no. 1, pp. 5-19. DOI: 10.47850/RL.2022.3.1.5-19.

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-011-00801 «Концепция тройственного мимесиса П. Рикёра как основание верифицируемости исторических нарративов».

* The article was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No 20-011-00801 “The Concept of the Tripartite Mimesis of P. Ricoeur as the Basis for Verification of Historical Narratives”.

История вышла из лоно памяти и долгое время рассматривалась как ее продолжение, начиная с «отца истории» Геродота, который взялся за стило, чтобы «великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности» [Геродот, 1972, с. 11]. Но за истекшие с тех пор столетия история, так сказать, «повзрослела» и обрела независимость от памяти. Французский философ Поль Рикёр в своих работах неоднократно подчеркивал, как опасно смешивать функции истории и памяти, настаивая на необходимости сохранения баланса между ними [подробнее о памяти и истории в концепции Рикёра см.: Аникина, 2021]. В своем труде «Память, история, забвение» Рикёр пытается разрешить этот «постоянно возобновляемый спор между соперничающими претензиями истории и памяти на то, чтобы охватить всю область, открываемую позади настоящего в процессе репрезентации прошлого» [Рикёр, 2004, с. 190]. Для этого важно выяснить, где, в какой сфере лежит опасность их подмены друг другом, где особенно важно развести эти две формы обращения к прошлому, и как сохранить независимость каждой из них.

Несмотря на тесную взаимосвязь истории и памяти, последняя может выступать и как соперница или даже враг истории. Это связано с многообразием феноменов памяти, среди которых значительная часть находится не в рефлексивной области, а в области привычки или того, что Рикёр называл произвольным воскрешением в памяти. Это противопоставление зачастую ускользает от внимания субъектов воспоминаний, и произвольно возникающие картины прошедших событий имеют тенденцию восприниматься как единственно возможный образ прошлого. История также нередко стремится подменить собой память на том основании, что последняя не выдерживает критической проверки.

История как опора ненадежной памяти

Ключевая установка Рикёра о доверии памяти далеко не у всех исследователей находит поддержку. Подчеркивается недостоверность памяти, ее обусловленность принадлежностью индивида к той или иной социальной группе, подверженность манипуляциям. Поэтому многие исследователи рассматривают память как то, что должно быть уточнено или даже преодолено с помощью критической методологии истории. Степень недоверия к памяти при таком подходе варьируется, определяя радикальность отрицания ее роли для истории.

Одними из первых среди историков в надежности памяти усомнились основатели школы Анналов. Так, Люсьен Февр писал: «Постараемся отделаться от иллюзий. Человек не помнит прошлого – он постоянно воссоздает его ... Он исходит из настоящего – и только сквозь его призму познает и истолковывает прошлое» [Февр, 1991, с. 21]. Марк Блок предостерегал от наивного доверия свидетельствам, разделяя их на намеренные, «сознательно предназначенные для осведомления читателей» [Блок, 1986, с. 37], и ненамеренные следы деятельности, подчиненные только целям этой деятельности. Эти вторые он считает для историка более предпочтительными, хотя и столь же несвободными от фальсификаций и ошибок. Но и те, и другие обретают свою ценность только под критическим взглядом историка.

Так что в первой половине XX в. история, лишь недавно утвердившаяся в своем статусе научной дисциплины, действовала как бы против памяти. Субъективная, индивидуальная, обманчивая природа последней противоречила требованиям объективных наук, изучающих

общие закономерности. Хотя история и вынуждена была опираться на память, последняя оставалась не более чем свидетельством, нуждающимся в проверке, критической оценке и интерпретации историка. Историк был тем, кто решал, должен ли сохраниться тот или иной факт в истории сообщества. Все остальные факты были частным делом памяти отдельных групп: «История была областью коллективного, память же – индивидуального» [Нора, 2005, с. 203].

Во второй половине XX в. критика субъективности памяти вообще и исторических свидетельств в частности привела к отдельным выступлениям против какой-либо надежности следов прошлого. Кроме того, исследования в области автобиографической памяти показывают, насколько высока манипулятивность этого вида памяти и его зависимость от текущих обстоятельств. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, «теряют» позитивные воспоминания о прошлом, происходит обеднение прошлого [Нуркова, Василевская, 2003]. С другой стороны, имеет место то, чему психологи дали название «эффект розовых очков», заключающийся в том, что со временем сглаживаются негативные впечатления, и субъекты склонны придавать событиям более позитивный смысл [Нуркова, 2008]. Все это, безусловно, говорит о том, что память нуждается во внешнем контроле, если хоть в каком-либо отношении нам важно иметь достоверные представления о прошлом.

Х. Уайт и Ф. Анкерсмит были убеждены, что свидетельства не могут указывать на прошлое, но лишь на другие интерпретации прошлого. Многие историки сегодня также продолжают линию критики памяти как того, что должно быть преодолено с помощью критического инструментария историка. По мнению А. Мегилла, память не заслуживает того доверия, какое ей оказывает Рикёр. Мегилл прямо пишет: «Память – область мрака, ей нельзя доверять» [Мегилл, с. 168]. Он исходит из того, что возможно построение объективной истории, но памяти различных социальных групп, отстаивающих каждая свою версию событий, не допускают какого-либо согласия между ними. Следовательно, соотнесение истории с памятью какой-либо из этих социальных групп компрометирует историю как науку.

В случае конфликтов между группами споры не могут быть разрешены на основе обращения к памяти о том, с чего все началось и кто виноват: одна группа «помнит» одним образом, другая – другим. Апелляции к прошлому положению дел являются нерелевантными любым актуальным реальным проблемам: «... “память” одновременно и подстрекает к таким конфликтам, и является признаком неспособности вовлеченных в него людей справиться с причинами конфликта в той конкретной ситуации, в которой они живут» [Там же, с. 102].

Мегилл, в отличие от Рикёра, исходит из того, что память не является критической или рефлексивной способностью, что особенно отчетливо проявляется, когда воспоминания различных групп вступают друг с другом в противоречие. Поскольку непосредственно на уровне памяти конфликт «чья память достовернее» не может быть разрешен, то необходимое решение противоречия между конфликтующими «воспоминаниями» может быть найдено только на другом уровне, где действуют не мнемонические критерии, а, например, критерии исторической достоверности. Мегилл переносит акцент с аффирмативной функции историка на критическую составляющую его деятельности. В итоге он приходит к убеждению, что «история, скорее, должна элиминировать память и заменить ее чем-то другим, что не так привязано к потребностям настоящего» [Там же, с. 101].

На опасность раздробления истории, начинающей слишком усердно ориентироваться на память, обращал внимание и Пьер Нора, посвятивший свои исследования способу функционирования памяти и практикам поминовения в обществе. «То, что называют во Франции “национальной памятью”, – не что иное, как захват, опровержение, затопление основной исторической памяти видоизменяющими ее воспоминаниями отдельных групп» [Нора, 2005, с. 131]. Он также призывает историю противостоять памяти, особенно в виде «долга памяти», хотя и не отрицает претензии памяти на верность.

Даже такой беглый анализ показывает, что увязывание вместе истории и памяти глубоко проблематично. Тем не менее, важно подчеркнуть, что Рикёр не пытался ликвидировать это противоречие в своей концепции, но исходил из признания его неустранимости. Кроме того, можно привести еще несколько аргументов в пользу того, что критика памяти не может серьезно поколебать концепцию Рикёра.

Во-первых, в отличие от многих критиков памяти, Рикёр исходил из презумпции достоверности памяти, которую современные когнитивные науки скорее подтверждают [см.: Кандель, 2012], хотя и открывая при этом различные способы ее искажения. По словам Л. П. Репиной: «Некоторые исследователи исходят из того, что “индивидуальная память нерепрезентативна”. Эта оценка нуждается в корректировке, так как не учитывает сложного состава памяти индивида» [Репина, 2006, с. 31]. Индивидуальная память неоднородна, состоит из различных компонентов, которые можно отнести как к персональной, так и к социокультурной сферам. По убеждению Рикёра, как бы ни была память социально и культурно детерминирована, «вопреки всем ловушкам воображения, можно утверждать, что специфическая потребность в истине имплицитна нацеленности на прошлую вещь» [Ricoeur, 2000, p. 66]. Эта потребность в истине и делает память необходимым компонентом познания.

Во-вторых, многие критики памяти (тот же Мегилл) склонны употреблять понятие памяти недифференцированно, не учитывая различных процессов, которые составляют феномен воспоминания. Рикёр же четко разводит нерелексивируемые автоматизмы и память-разыскание, рефлексивную, требующую усилий [см.: Аникина, 2021]. Столкнувшись с «конфликтом воспоминаний», субъекты могут предпринять усилия по разысканию подтверждения или уточнения для своей памяти. Правда, для этого у них должна быть соответствующая установка на умиротворение, а не на конфликт. Таким образом, Мегилл и Нора порицают в первую очередь нерелексивное использование памяти.

Идеи о неустранимости памяти придерживается и видный отечественный исследователь этой проблематики Л. П. Репина. По ее мнению, между историей и памятью нет непреодолимого разрыва. История находится в постоянном диалоге с памятью, проверяя ее аргументы и утверждения на соответствие фактам, но «было бы ошибкой представлять, что в результате этого расследования, выудив из исторической памяти “достоверные” факты, проверив ее аргументы и реконструировав закодированный в ней опыт – т. е., превратив ее в историю, – мы покончили с памятью» [Репина, 2006. с. 42].

Так или иначе, Рикёр решительно выступает против лишения памяти статуса матрицы истории и низведения ее до простой области исторических исследований (история памяти). Он критикует подобные взгляды за то, что «проблематика присутствия того, кто отсутствует в репрезентации прошлого так же, как и всецело основанный на вере характер самого

свидетельства очевидца (я там был, верьте мне или не верьте) с самого начала упускаются из виду» [Рикёр, 2004. с. 541]. Это приводит к тому, что в истории теряется субъект, в том числе и коллективный, и конструируется такое прошлое, «о котором никто не мог бы вспомнить» [Там же].

Память как соперница истории

Памяти в свою очередь приходилось «отстаивать свое место» и бороться с унифицирующим воздействием истории, стремившимся объединить все народы в один нарратив (марксистский, шпенглеровский, прогрессистский и пр.), дав им общую судьбу, цель и прошлое с одинаковыми для всех этапами развития. Противостоя подобной унификации, стала пробуждаться память неевропейских народов и меньшинств. В то же время через 10–20 лет после Второй мировой войны память получила иной толчок к усилению своего влияния в европейском обществе.

Общим фоном для усиления значения свидетельства и памяти стало, во-первых, вовлечение все большего количества людей непосредственно в орбиту исторических событий, а во-вторых, увеличение продолжительности жизни самих свидетелей. Сначала после ужасов войны и шока концлагерей европейское общество пыталось скорее вытеснить страшные картины из коллективного сознания. Но по прошествии времени необходимость осмыслить произошедшее взяла верх. Показательна, например, судьба книги итальянского писателя Примо Леви «Человек ли это?» [Леви, 2001], основанная на его личном опыте заключения в концлагере. Автор написал ее «по горячим следам» в 1946 г. Издать ее удалось небольшим тиражом в маленьком издательстве в 1947 г. Тогда книга не получила какого-либо серьезного отклика и не была воспринята обществом. Однако уже в 1957 г. книгу все-таки приняло издательство «Эйнауди», она получила мировую известность и вызвала широкий резонанс. Вероятно, именно потому, что время, которое «все лечит», несколько понизило порог эмоциональности отношения к этим событиям, в результате чего многие свидетели смогли хотя бы начать говорить об этом.

Вскоре применительно к недавнему прошлому стало доминировать такое отношение, которое можно охарактеризовать как «долг памяти». Образно его можно выразить словами стихотворения Примо Леви, предпосланного им книге «Человек ли это?»:

«Представьте, что все это было:
Заповедую вам эти строки,
Запечатлейте их в сердце,
Твердите их дома, на улице,
Спать ложась, просыпаясь.
Повторяйте их вашим детям» [Там же, с. 10].

Западное общество как будто последовало наказу Примо Леви, причем с чрезвычайным усердием. Необходимость помнить, чтобы больше такого не повторилось, постепенно трансформировалась в просто необходимость помнить – в «долг памяти». Выразительными примерами могут служить ряд архивов воспоминаний людей, пострадавших от Холокоста:

аудио (затем и видео) архив музея Йад-Вашем в Израиле, архив Йельского Университета и др. Процессом сбора воспоминаний занялись не только специализированные организации (научные и музейные), но и представители массовой культуры, или просто энтузиасты¹.

Подобные коллекции свидетельств зачастую выходят за рамки того, что необходимо историкам для реконструкции событий прошлого, преследуя скорее цель сохранения воспоминаний как самостоятельной ценности. По утверждению Мегилла «в них стали видеть нечто подобное священным реликвиям». О сакрализации темы Холокоста и превращении практик сбора воспоминаний и мероприятий, посвященных памяти жертв, в ритуалы писал американский историк П. Новик [Novick, 1999].

Падение Берлинской стены и исчезновение Советского Союза дало еще один толчок к «обретению памяти» в Восточной Европе, примером чего может стать ажиотаж вокруг открытия архивов Штази в бывшей ГДР. «Крах диктатур Латинской Америки, конец апартеида в Южной Африке и создание там Комиссии истины и примирения (Truth and Reconciliation Commission) стали вехами подлинной глобализации памяти; сведение счетов с прошлым проходило повсюду в очень различных и в то же время сопоставимых формах» [Нора, 2005, с. 132].

«Сведение счетов с прошлым» нашло свое отражение и в процессах над нацистскими преступниками, и в лоббировании различными национальными сообществами различных «законов о признании»². Таким образом, покинув пределы истории, память вышла даже в область права – феномен, который еще не получил достаточного осмысления. Если судебные процессы над преступлениями нацизма еще находятся на полпути между правом и собственно памятью-свидетельством, требующей верности и доверия, то принятие законов, и особенно так называемых «охранных законов» – это уже пример памяти, ставшей привычкой, памяти воскрешающей, лишенной дистанции, а значит и диалектики присутствия того, что отсутствует.

Нора видит причины «всемирного торжества памяти» в сочетании двух крупных исторических явлений, характерных для современной эпохи. Первый феномен Нора называет «ускорением времени», второй – демократизацией истории. Под первым имеются в виду чрезвычайно быстрые изменения, происходящие в обществе, что приводит к тому, что жизненный опыт даже одного поколения обесценивается уже в течение его жизни. Становится неясно, что из прошлого может пригодиться, и чего при таких темпах изменений ждать от будущего. Эта невозможность предугадать будущее, и заставляет людей, по мнению Нора, «благоговейно и неразборчиво собирать любые видимые знаки и материальные следы» [Там же].

Под демократизацией истории Нора понимает предоставление права на место в истории тем, кто раньше был его лишен, начиная от всех неевропейских народов и женщин до маргинальных сообществ. Первоначально пробуждение памяти этих групп носило характер демократичного протеста, протеста, в том числе и против истории, которая во все времена находилась в руках элит. Обретение собственного прошлого для различного рода

¹ Примером могут служить видеоархив кинорежиссера Стивена Спилберга или книги воспоминаний блокадников в России. Автору довелось поучаствовать в создании одной такой книги – «900 блокадных дней» (Новосибирск: ГПНТБ, 2004), собирая интервью блокадников, живших тогда в Новосибирске.

² Например, законы о признании геноцида армян, принятые парламентами многих стран.

меньшинств стало условием утверждения их идентичности. И первоначально это обретение происходило на почве живой памяти их представителей: мы помним себя, отцов, мы (или они) страдали, мы оказались в какой-то ситуации и хотим понять, почему? Таким образом, по мнению Нора, изначально в расширении прав памяти доминировал позитивный призыв к эмансипации и равенству.

То значение, какое придавалось лично пережитым страданиям привело к новому явлению, к пересмотру отношения к памяти: «Что в ней ново ... так это претензия на истину более «истинную», чем истина истории: истину живой памяти о пережитом» [Там же, с. 135]. Неожиданным образом в результате утверждения этой претензии «позитивный принцип эмансипации и освобождения, одушевлявший ее [сакрализацию памяти], оборачивается своей противоположностью и превращается в форму замкнутости, мотив исключения и орудие войны» [Там же]. В своей статье Пьер Нора приходит к заключению, что вопрос о причинах такого изменения положения является одной из важнейших проблем, требующих осмысления.

Искусная/искусственная память

Объяснение этой инверсии позитивной роли памяти можно найти в концепции Рикёра о злоупотреблении памятью. Именно из-за основополагающего значения памяти для истории, ее неверное употребление влечет за собой такие серьезные последствия. В книге «Память. История. Забвение» Рикёр артикулирует разные способы злоупотребления памятью, разделяя естественную и искусную (искусственную, *artificielle*³) память. Разделение естественной и искусственной памяти Рикёр строит на противопоставлении двух модальностей работы с памятью: припоминание (*remémoration*) – как разыскание воспоминания и запоминание (*mémorisation*) – как заучивание наизусть, то есть искусная память. Разница между ними состоит в том, что от запоминания в первую очередь требуется легкость воспроизведения, что является добродетелью хорошей памяти. Но для Рикёра эта легкость, самопроизвольность вызывания в памяти есть повод для подозрения, так как это признак памяти-привычки, которая облегчает нам существование в настоящем, и на физиологическом уровне она соотносится с имплицитной памятью, которая «служит проводником в устоявшейся повседневной деятельности, не контролируемой сознанием» [Кандель, 2012, с. 404]. Однако при адаптации к новым обстоятельствам от нее часто приходится отказываться, а та самая легкость воспроизведения становится серьезным препятствием для усвоения новых моделей.

³ Французское слово *artificiel* (ж.р. *artificielle*) имеет значения: 1) искусственный; 2) сделанный, наигранный. Однако латинское слово *artificiosus*, с которым связано *artificiel*, в первую очередь переводится как «искусный, умелый», но также имеет значение «искусственный». В своем разборе ошибок использования памяти Рикёр отталкивается от книги Ф. Йейтс «Искусство памяти» (*The Art of Memory*), которая в свою очередь отсылает к трактату «*Ad Herennium*», где говорится об искусной (*artificiosa*), в смысле хорошо натренированной памяти. Ввиду того, что в русском языке слова искусный и искусственный не являются омонимами, то переводчику, очевидно, пришлось выбирать, сохранить ли при переводе *artificielle* противопоставление естественный/искусственный или подчеркнуть отсылку к искусству памяти, как набору техник для ее тренировки. Вслед за переводчиком книги «Память, история, забвение», мы предпочитаем использовать перевод «искусная память», делая соответствующую оговорку.

Если говорить о запоминании, которое Рикёр соотносит с искусной памятью, то тут он выделяет три уровня усложнения: от обучения в физиологическом смысле (вроде экспериментов по выработке условного рефлекса) к заучиванию наизусть (например, учениками в школе), и затем к заучиванию наизусть больших объемов информации с помощью мнемотехник (в качестве примера приводится *Ars memoriae* эпохи Возрождения).

Важным в отношении памяти как запоминания является возможность присутствия некоего внешнего фактора, обуславливающего необходимость заучивания, который может направлять обучение. На самом простом уровне живое существо овладевает новыми для него формами поведения, но это может происходить в естественных условиях или в условиях эксперимента, когда хозяином положения является экспериментатор, определяющий условия, цели и задачи обучения и критерии успеха. То же самое касается и следующего уровня заучивания, где требуется уже большая степень участия и самостоятельности обучающегося, но все еще присутствует элемент руководства и искусственности ситуаций (так школьное обучение контролируется учителем). Профессionalам разного рода, от музыкантов до юристов, также приходится заучивать наизусть большие объемы информации для своей работы. На этих двух уровнях условия диктует не столько экспериментатор или педагог, сколько сама задача обучения и материал, который необходимо запомнить. То есть задача запоминания имеет прагматичный характер, обусловленный стремлением получить определенный результат. Однако если идти дальше в стремлении запоминать, то прагматизм утрачивается, а запоминание превращается в самоцель.

Третий уровень искусной памяти отличается от двух предыдущих тем, что здесь обучающийся сам сознательно руководит своим обучением. Для Рикёра важно это обстоятельство – отсутствие взаимодействия с другим. Именно этот критерий позволяет отделить третий уровень от предыдущих двух, а не объем информации для запоминания. Именно одинокий разум склонен к злоупотреблению искусной памятью.

Другой важной чертой третьего уровня является стремление к абсолютному запоминанию, что приводит к отрицанию забвения. Отрицание забвения чревато двумя основными проблемами: сохранением в памяти того, что мешает жить и сковыванием воображения, заменяемого на повторение реальности. И то, и другое стоит на пути нормального человеческого существования, поскольку человек, вечно находящийся в плену пережитых кошмаров, теряет волю и способность жить, а лишенный воображения теряет способность создавать новое.

Третья проблема такой чрезмерной памяти состоит в «соединении мнемотехники и оккультной тайны» [Рикёр, 2004, с. 98], которое происходит в результате преувеличения роли памяти как силы, дающей власть. Это возвеличивание памяти имеет давнюю традицию, начиная с провозглашения в античности деяний тренированной памяти «почти божественными», и далее через средневековые традиции искусной памяти как части риторики (одного из семи свободных искусств) к *Ars memoriae* эпохи Возрождения. Искусственное запоминание, находящееся как бы полностью в управлении самого субъекта памяти, игнорирует то, что Рикёр называет «принудительным характером следов», то есть независимость памяти. Способность памяти запечатлевать воспринятое независимо желания субъекта восприятия и позволяет ей быть когнитивным инструментом. Отрицание этого «принудительного характера следов» приводит к тому, что Рикёр, вслед

за Ф. Йейтс, называет «алхимией воображения». Представление о том, что искусная память есть божественная сила, дает иллюзию власти над вещами и уверенность, что носитель этой власти может сам решать, что он должен помнить. Отрицая несовершенство сохранения следов и их принудительный характер, искусная память отдает приоритет запоминанию перед припоминанием. Но заставить себя запомнить можно абсолютно все, что угодно: и Библию, и Велесову книгу, и династии королей Средиземья⁴. Произвольный характер запоминания как искусства приводит к тому, что этот вид памяти полностью контролируется ее носителем, перечеркивая идею сохранения реального опыта.

В силу всех перечисленных недостатков – непосредственность извлечения информации, автономность запоминаящего, отрицание забвения, произвольный характер запоминания – искусная память превращается в искусственную, замкнутую на саму себя, а не связывающую воспоминание с прошлым опытом. Как нам представляется, коллективная историческая память так же может быть устроена как по модели естественной, рефлексивной, так и по модели искусной памяти, в последнем случае она становится опасна для общества, преобладание такого типа памяти в отношении прошлого отрицает саму сущность исторической науки.

Кроме того, Рикёр разбирает и ошибки естественной памяти, памяти как воспоминания: это задержанная память (травмированная, которая в силу тяжести воспоминаний вытесняет пережитое), манипулируемая память и память-долг. Как нам представляется, разделение на естественную и искусственную память имеет значение скорее для целей анализа проблемы. Если мы обращаемся к реальным феноменам, то видим сочетание уровней и проблем, особенно если мы сопоставим искусную память и концепцию «память-долг». Именно это сочетание в конечном итоге и оборачивается для памяти тем, на что сетовал Пьер Нора: «замкнутостью, мотивом исключения и орудием войны».

У естественной памяти есть определенная функция: сохранять опыт прошлого для принятия адекватных решений в настоящем. Применительно к сообществу есть еще задача поддержания коллективных идентичностей: сохранение определенных представлений, памятных событий и важных имен. Эту задачу берет на себя государство. Государство может действовать совместно с обществом и составляющими его разными группами, совместно с научным сообществом. Однако часто государство стремится выполнять эту функцию единолично. Тогда на уровне государственной политики и возникает опасность замыкания друг на друга памяти-долга и «алхимии воображения»: принятие решений происходит на уровне одного актора, произвольный характер решений о том, что релевантно, а что нет, приоритет запоминания над осмыслением, над рефлексивным процессом разыскания правды о прошлом, непосредственность содержания памяти, в том смысле, что тем, кто пытается руководить процессом, «точно известно», что нужно помнить.

На примере мемориальной политики в России⁵ мы видим, что именно это и происходит. С одной стороны, сегодня и в России можно говорить о сакрализации памяти о войне, однако в центре этой памяти находятся не все невинные жертвы нацизма, а именно павшие в бою за свободу Родины («Какою ценой завоевано счастье, – пожалуйста,

⁴ Вымышленный мир из книг Дж. Р. Р. Толкиена.

⁵ Безусловно, это свойственно многим другим государствам. Не только авторитарные, но и демократические государства пытались реализовывать политику памяти-долга, где-то более жестко и добиваясь большего воздействия, где-то наталкиваясь на противодействие со стороны общества.

помните!»)⁶. Как и в случае с памятью европейских стран имеет место сакрализация жертвы, однако в западной культуре оно изначально было направлено на признание и искупление вины (за то, что «прогрессивное человечество» допустило зверства нацистов), а в советской – на маскировку вины и оправдание существующей ситуации (миллионы погибших, как во время войны, так и до нее – это необходимая патриотическая жертва).

Сегодня мы видим усиление той же риторики, но с перенесением акцента с возвеличивания жертвенности и потерь на героизм. Но если потери и жертвы – это реальное содержание народной исторической памяти, на которое может опираться не только оправдание прошлого, но и желание никогда больше не повторять такого ужаса, то продвигаемая сегодня бравурная идеология победы не имеет отношения к реальному историческому опыту народа. Об этом сегодня говорят достаточно много [см. также: Малинова, 2015, с. 115-127; Бордюгов, 2010, с. 229-235], в качестве примера можно привести высказывание историка Н. Соколова: «Эти символы [основные атрибуты празднования – георгиевская лента, ветераны, парад Победы] ни в какой степени не являются памятью. Более того, это указание на место забвения, это такой шрам, след – здесь было что-то важное, но мы об этом теперь ничего не помним и даже узнавать не желаем. Там внутри должен был быть опыт победы, опыт войны ...» [Соколов, Медведев, Мовчан, 2015].

С идеологией победы тесно связано «отсекание» реальной исторической памяти народа о довоенном периоде советской истории. Исследования показывают поразительную вещь: сталинскую эпоху многие россияне в 1990 и в 2007 гг. одинаково воспринимают как «золотой век», сталинизм для них предстает хорошо организованным обществом сознательных тружеников [Хапаева, 2007, с. 120]. Подавляющее большинство опрошенных считали, что «при Сталине в стране была прочная трудовая дисциплина», и что «люди добросовестно работали». Треть опрошенных считали, что в «стране царя атмосфера радости и оптимизма». При этом более 90 % опрошенных были осведомлены о репрессиях, проводимых в это время в стране, 63,5 % понимали, что речь шла о десятках миллионов жертв, а 62 % считали репрессии ничем не оправданными [Там же].

Как видно из исследования Д. Хапаевой, при почти полном осознании факта репрессий, память о перенесенных страданиях и унижениях в массовом историческом сознании артикулируется весьма незначительно⁷, не являясь ресурсом, к которому можно было бы обратиться сегодня и извлечь какой-либо опыт. Нежелание государства открывать архивы поддерживает эту ситуацию. Происходит сакрализация того, что никак не связано с какой бы то ни было реальной памятью – личной, семейной, народной, исторической. На месте исторической памяти государство конструирует свою, официальную версию памяти, исходя из которой должна выстраиваться история.

⁶ Из поэмы Р. Рождественского «Реквием», написанной в 1962 г. Стоит отметить, что Рождественский, так же, как и Примо Леви, в очень схожей риторике призывал помнить:

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли, помните!

К мерцающим звездам ведя корабли – о погибших помните ...

⁷ Безусловно, в публичном поле есть множество проявлений памяти о репрессиях, но для такого масштабного и значительного исторического явления их явно недостаточно.

Таким образом, можно предположить, что в России на данный момент также имеет место замыкание долга памяти на «алхимию воображения», когда «воображение, освободившееся от служения прошлому, заняло место памяти». Об этом сегодня говорят и публицисты, и историки: «... совершенно очевидно, что у нас есть достаточно серьезная проблема с исторической памятью, есть достаточно серьезная проблема и необходимость десталинизации общества, то есть необходимость завершения той задачи, перед которой страна как минимум вставала дважды – в конце 50-х – начале 60-х годов и в конце 80-х – начале 90-х годов» [Красильников, 2016].

Может быть, эта память не хуже, и даже лучше, чем настоящая? Если она как бы дает нам позитивное прошлое, то может помочь выстроить позитивное будущее? Именно на это, кажется, и рассчитывают те, кто последовательно проводит политику вытеснения из массового сознания реальной исторической памяти, заменяя ее торжественной официальной историей. Однако такая позиция в отношении памяти отрицает «было» прошлого, перечеркивает идею памяти как хранительницы реально пережитого опыта, который только один позволяет ориентироваться в реальном мире.

Рассуждая в том же ключе в эссе «Истина и политика», Ханна Арендт также отмечает, что, хотя у государства есть мощные механизмы информационного давления, способные убедить кого угодно в чем угодно, такие действия разрушают саму основу существования государства и жизненного мира в целом: «Уговоры и насилие могут разрушить истину, но не могут ее заменить» [Арендт, 2014, с. 383], в том смысле, что только представление об истинных фактах может дать человеку реальную почву, опираясь на которую, он может действовать.

Сопоставление Рикёром истории и памяти направлено на то, чтобы продемонстрировать, как именно естественная память укоренена в жизненном мире, и почему, несмотря на возможности манипуляций, память сохраняет претензию на верность. Можно спорить о том, что считать истинными фактами. Как пишет Арендт: «В понятийном отношении истиной можно назвать то, чего мы не можем изменить; в метафорическом отношении истина – это земля, на которой мы стоим, и небо, распростершееся над нами» [Там же, с. 389]. Для Рикёра истина начинается с принудительности следов, в каком бы значении мы ни использовали это слово, применительно ли к человеческому восприятию или остаткам прошлого.

Рассматривая взаимоотношения памяти и истории, Рикёр стремится не впасть ни в одну из крайностей: ни в порицание памяти, как способности к адекватной репрезентации прошлого, ни в принижение истории перед лицом воспоминаний очевидцев. Рикёр утверждает симметричность двух составляющих одного процесса осмысления прошлого: историзация памяти, то есть рассмотрение памяти как феномена культуры инициирует процесс, «в котором история осуществляет свою корректирующую истинностную функцию в отношении памяти, постоянно выполняющей по отношению к ней свою функцию матрицы» [Рикёр, 2004, с. 546-547]. В этом двусоставном процессе – залог достоверности познания прошлого.

И история, и память, поскольку обе обращены к прошлому, не могут определить первенство между собой. Но именно это диалектическое противостояние позволяет избежать двух опасных крайностей: «того *hybris* [высокомерия], которыми были бы, с одной

стороны, претензия истории на низведение памяти в ранг одного из ее объектов, а с другой стороны – претензия коллективной памяти на подчинение истории путем злоупотребления памятью, каковым могут стать мемориальные церемонии, навязываемые политической властью или группами давления» [Там же, с. 547].

Позиция Рикёра состоит в том, что хотя история может (и должна) дополнять, уточнять или даже опровергать свидетельства памяти относительно прошлого, но она не в состоянии упразднить память как один из способов обращения к прошлому. Причина этому кроется, с одной стороны, в онтологии: «Потому что, как нам кажется, память остается хранительницей высшей конститутивной диалектики прошлости прошлого, то есть отношения между “больше не”, подчеркивающим характер завершенности, упраздненности, преодоленности, и “было”, говорящем об изначальном и в этом смысле нерушимом характере» [Там же, с. 690]. С другой же стороны, причина неустрашимости памяти кроется в этике: память децентрирует исторического субъекта, она позволяет увидеть прошлое в разнообразии и в итоге расширяет коллективный исторический опыт. При сохранении корректирующей роли истории память сохраняет этот освобождающий, демократизирующий, антирепрессивный импульс, о котором писал П. Нора.

Очевидно, что соперничество между памятью и историей, между верностью одной и истинностью другой не может быть разрешено раз и навсегда. Ревностно исполняя каждая свою функцию, обе они предъявляют права на первенство. Этот спор не может быть выигран с помощью только эпистемологических процедур. Рикёр переносит его на другую сцену – сцену, принадлежащую читателю истории, которая вместе с тем является и сценой рассудительного гражданина. «Получатель исторического текста должен и лично, и в плане публичной дискуссии поддерживать равновесие между историей и памятью» [Рикёр, 2004, с. 691]. Эта роль возлагается на читателя истории потому, что он вместе с тем является и действующим лицом истории, несущим ответственность за последствия.

Список литературы/ References

Аникина, А. Б. (2021). Память как матрица истории в концепции Поля Рикёра. *Идеи и идеалы*. Т. 13. № 2-2. С. 351-368.

Anikina, A. B. (2021). Memory as a Matrix of History in the Concept of Paul Ricoeur. *Ideas and ideals*. Vol. 13. no. 2-2. pp. 351-368. (In Russ.)

Арендт, Х. (2014). *Между прошлым и будущим*. М. Изд-во Института Гайдара.

Arendt, H. (2014). *Between Past and Future*. Moscow. (In Russ.)

Балабан, П. М. (2014). Хранение памяти. *Постнаука*. [Электронный ресурс]. URL: <https://postnauka.ru/video/27845> (дата обращения: 13.02.2022).

Balaban, P. M. (2014). Memory Storage. *Postnauka*. [Online]. Available at: <https://postnauka.ru/video/27845> (Accessed: 13 February 2022). (In Russ.)

Блок, М. (1986). *Апология истории или ремесло историка*. М. Наука.

Bloch, M. (1986). *The Historian's Craft*. Moscow. (In Russ.)

Бордюгов, Г. А. (2010). *Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти*. М. АИРО-XXI.

Bordyugov, G. A. (2010). *October. Stalin. Victory. The Cult of Anniversaries in the Space of Memory*. Moscow. (In Russ.)

Геродот. (1972). *История*. Л. Наука.

Herodotus (1972). *The Histories*. Leningrad. (In Russ.)

Кандель, Э. (2012). *В поисках памяти. Возникновение новой науки о человеческой психике*. М. Астрель: CORPUS.

Kandel, E. (2012). *In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind*. Moscow. (In Russ.)

Красильников, С. А. (2016). Право на «первородство»: историк против конъюнктуры. *Гегтер*. [Электронный ресурс]. URL: <http://gefter.ru/archive/17807> (дата обращения: 13.02.2022).

Krasilnikov, S. A. (2016). The right to “primogeniture”: the historian against the conjuncture. *Gefter*. [Online]. Available at: <http://gefter.ru/archive/17807> (Accessed: 13 February 2022).

Леви, П. (2001). *Человек ли это?* М. Текст.

Levi, P. (2001). *If This Is a Man?* Moscow. (In Russ.)

Малинова, О. Ю. (2012). Использование прошлого в российской официальной символической политике (на примере анализа ежегодных президентских посланий). *Историческая политика в 21 веке*. М. НЛЮ.

Malinova, O. Yu. (2012). The Use of the Past in Russian Official Symbolic Policy (based on the analysis of annual Presidential messages). *History politics in the 21st century*. Moscow. (In Russ.)

Малинова, О. Ю. (2015). *Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. М. Политическая энциклопедия.

Malinova, O. Yu. (2015). *The Actual Past: Symbolic Politics of the Ruling Elite and the Dilemma of Russian Identity*. Moscow. (In Russ.)

Мегилл, А. (2007). *Историческая эпистемология*. М. «Канон+», РООИ «Реабилитация».

Megill, A. (2007). *Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide to Practice*. Moscow. (In Russ.)

Нора, П. (2005). Всемирное торжество памяти. *Неприкосновенный запас*. № 2. С. 202-208.

Nora, P. (2005). The Global Triumph of Memory. *Неприкосновенный Запас*. no. 2. pp. 202-208. (In Russ.)

Нуркова В. В., Василевская, К. Н. (2003). Автобиографическая память в трудной жизненной ситуации: новые феномены. *Вопросы психологии*. № 5. С. 93-103.

Nurkova, V. V., Vasilevskaya, K. N. (2003). The Autobiographical Memory in a Difficult Life Situation: the New Phenomena. *Voprosy Psikhologii*. no. 5. pp. 93-103. (In Russ.)

Нуркова, В. В. (2008). Доверчивая память: Как информация включается в систему автобиографических знаний. *Когнитивные исследования*. Под ред. В. Д. Соловьева и Т. В. Черниговской. М. С. 87-102.

Nurkova, V. V. (2008). Trustful memory: How Information is Included in the System of Autobiographical memory. In Solovieva, V. D. and Chernihiv, T. V. (eds.) *Cognitive Studies*. Moscow. pp. 87-102. (In Russ.)

Репина, Л. П. (2006). Память и историописание. *История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени*. Ред. Л. П. Репина. М. Круг. С. 19-46.

Repina, L. P. (2006). Memory and historiography. In Repina, L. P. (ed.) *History and memory: the historical culture of Europe before the Beginning of Modern Time*. Moscow. pp. 19-46 (In Russ.)

Рикёр, П. (2004). *Память, история, забвение*. М. Изд-во гуманитарной литературы. 728 с.

Ricoeur, P. (2004). *Memory, History, Fogetting*. Moscow. 728 p. (In Russ.)

Соколов, Н. П., Медведев, С. А., Мовчан, А. А. (2015). Украденная победа. Радио «Свобода», Выпуск передачи «Археология». *Radio Liberty*. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.svoboda.org/a/26996634.html> (дата обращения: 13.02.2022).

Sokolov, N. P., Medvedev, S. A., Movchan, A. A. (2015). Stolen Victory. Release of the broadcast «Archeology». *Radio Liberty*. [Online]. Available at: <http://www.svoboda.org/a/26996634.html> (Accessed: 13 February 2022). (In Russ.)

Февр, Л. (1991). *Бои за историю*. М. Наука. 635 с.

Febvre, L. (1991). *Fights in the history*. Moscow. 635 p. (In Russ.)

Хапаева, Д. (2007). Очарованные сталинизмом: массовое историческое сознание в преддверии выборов. *Неприкосновенный запас*. № 5(55). С. 48-59.

Khapaeva, D. (2007). Fascinated by Stalinism: Mass Historical Consciousness in the Run-up to Elections. *Neprikosnovennyy Zapas*. no. 5(55). pp. 48-59. (In Russ.)

Novick, P. (1999). *The Holocaust in American Life*. Boston.

Ricoeur, P. (2000). *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris. Seuil.

Yates, F. A. (1966). *The Art of Memory*. London. Routledge and Kegan Paul.

Сведения об авторе / Information about the author

Аникина Александра Борисовна – кандидат философских наук, преподаватель Новосибирского государственного университета, Новосибирск, Пирогова, 1, e-mail: lieda27@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5713-3168>.

Статья поступила в редакцию: 10.12.2021

После доработки: 15.02.2022

Принята к публикации: 28.02.2022

Anikina Alexandra – Candidate of Philosophy, Lecturer at Novosibirsk State University, Novosibirsk, Pirogova str., 1, e-mail: lieda27@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-5713-3168>.

The paper was submitted: 10.12.2021

Received after reworking: 15.02.2022

Accepted for publication: 28.02.2022